

Л.Я. Шнейберг, И.В. Кондаков

### «Линия и лица»: проблематика и характеры в повести «Котлован»

Колхоз имени Генеральной Линии в «Котловане» — это примерно то же самое, что Интеграл имени Благодетеля в замятинском «Мы». Между тем никто не знает, кто такой мудрый Благодетель и каков он. Генеральная линия партии — то же: никто не знает, какой она будет завтра, какой должна быть... И там и тут — слепое поклонение некоей абстракции. И там и тут — слепая вера, подобие новой религии (светской, политической). Неважно, как она называется: этатизм — преклонение перед Государством, как в «Мы»; марксизм-ленинизм, как в повести «Котлован», в обоих случаях — подчинение людей, народа, массы высшей силе — непостижимой, иррациональной, сверхличной. «Сумеют ли нет успеха высшей науки воскресить назад сопревших людей?» — спрашивает один из героев повести. «Нет», — отвечает другой. — «Врешь... Марксизм все сумеет. Отчего же тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет».

С помощью этой религии можно вершить из человека Бога. Бог может называться Благодетель, а может — Ленин.

Девочка Настя мало что успела узнать в жизни. Зато она знает, что «главный — Ленин». «И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чувствуют товарища Ленина!» — резюмируют деятельный Сафронов.

Осчастливить всех, но по-своему — вот цель, которую ставит Единое Государство, желая покорить далекие планеты. Аналогичны почти вселенские масштабы деятельности активиста в «Котловане» (а в его лице — Советского государства). «Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь; пора уже целыми эшелонами в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься». Таким он видит свое предназначение.

Подобно Замятину, Платонов описывает не то, что должно быть (об этом написал, например, Чернышевский в четвертом сне Веры Павловны), а о том, что бывает. То, что должно быть в прекрасном сне, в идеале, утверждает утопия; то, что бывает, когда утопия претворяется в жизнь, — антиутопия. Подобно Замятину, Платонов предостерегает.

Каждой эпохе, как и человеку, для полного самосознания нужна другая эпоха, через диалог с которой она раскрывается с наибольшей полнотой. С помощью книг Платонова, и в частности «Котлована», мы вступаем в общение с другой эпохой, которая отражает наше время и многое объясняет в нем.

Почему герои повести так самозабвенно верят в социализм? Отчего им кажется, что стоит построить «единый общепролетарский дом», «ликвидировать кулаков вдаль», как сразу начнется прекрасная жизнь? Одна из основных причин связана со спецификой народного сознания. Народное сознание в своей основе мифологизированно, то есть ему свойственно превращенное, фантастическое объяснение мира и человека. Для мифологизированного сознания характерна подмена реально существующих в действительности связей между вещами и явлениями — иллюзорными, принимаемыми на веру, часто оборачивающимися примитивными стереотипами. Отчасти это объясняется темнотой, забитостью, непросвещенностью; отчасти — неизжитыми языческими традициями — поклонением идолам, суевериями; отчасти — тяжелейшими социальными условиями жизни народа — условиями, которые порождали веру в доброго царя и коллективный, «соборный» разум общины.

Революция провозгласила равенство, справедливость, свободу в качестве основных жизненных принципов. Эти слова зернами надежды «пали» на подготовленную почву.

Социализм стал землей обетованной; ради его приближения никакие жертвы не казались напрасными, никакая цена — слишком большой.

Изнурительная, выматывающая силы работа — это рытье котлована, — котлована под «единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом» Это дом-мечта, дом-символ (вспомним «неимоверный дом» — Дворец Съездов в «Усомнившемся Макаре»). Рухнув на пол после трудового дня, люди спят вповалку, «как мертвые». Вощев «всмотрелся в лицо ближнего спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрывались его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в стертых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было ни звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека».

Рабочие верят «в наступление жизни после постройки больших домов». Поэтому так без остатка отдают себя работе, высасывающей соки из тела: «Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего... У одного из рабочих от измождения слабо росла борода».

Ради жизни будущей можно и пострадать, потерпеть! Какой знакомый мотив: каждое предыдущее поколение терпело в надежде, что каждое последующее будет жить достойно. Поэтому отказываются люди закончить работу в субботу: хотят приблизить новую жизнь: «До вечера долго... чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма». «Жить ради энтузиазма» не могут животные, включенные в строгий естественный ритм жизни природы, каждый шаг, движение которой целесообразно, если и неосознанно, инстинктивно.

«Мы ведь не животные» — человек, таким образом, выключен из естественного мира природы. Когда нужен только энтузиазм, осмыслять, осознавать, искать целесообразности не обязательно. Если есть «генеральная линия», есть общий план, есть, наконец, реальная, конкретная работа, ее делать надо, а не рассуждать. Вот с этим-то и не может примириться Вощев.

Повесть «Котлован» начинается словами, сразу вводящими в проблематику произведения: «В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда». В «рост слабосильности» верится с трудом: Вощеву — тридцать. Земляные работы в котловане, наверное, тяжелее, чем на небольшом механическом заводе. Главная и единственная причина увольнения — Вощев «думал среди производства». И думал не столько о производстве, сколько о «плане жизни», точнее — «о плане общей жизни». Вощев не может не думать. Он должен понимать смысл того, что делает, понимать истину. «У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили... Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб».

«Ты, наверно, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать» — эти слова «наиболее активного из мастеровых» товарища Сафронова возвращают нас к теме «интеллигенция и революция». Интеллигенция всегда мешала именно потому, что стремилась, во-первых, осмыслить настоящее, во-вторых, прогнозировать будущее. Когда требуется только энтузиазм, поиски смысла, поиски истины портят «нашу линию» и идут «против темпа и руководства». Более того, поиски истины опасны, вредны и подозрительны.

Так рабочий человек Воцев попадает в «интеллигенты» и сразу вызывает настороженное к себе отношение.

«Говорили, что все на свете знаете, – сказал Воцев, – а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить». А Сафронов в это время «глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображения может предстать!» В самом желании найти истину, и даже в ней самой, Сафронов видит происки классового врага.

Сафронов действует не рассуждая, потому что истина лежит вне его, задана как «линия» и «направление», внедрена как вера, чуждая сомнений и не нуждающаяся в доказательствах. Истина — это приказ, а приказы не обсуждаются. Требуется только беспрекословное подчинение нижестоящего вышестоящему — и так до самых низов, до масс. Массы должны материализовать абсолютную истину (мифологизированную истину), сделать ее вещественной и неопровержимой.

Для Воцева такого рода механический процесс невозможен. Каждое его действие должно быть одухотворено, иначе оно напоминает действие всякого мертвого механизма. Сам человек превращается в механизм, в винтик (вспомните героев Островского и Замятина).

Воцев не ищет истину только для себя. Он был бы счастлив знать, что истиной владеют другие. Встретившись с мастеровыми, этими «грустно существующими людьми», роющими котлован, Воцев с «робостью слабой надежды» спрашивает: «Вы уже, наверное, все знаете?» «...Он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле чело-века, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным».

А что ж мастеровые? «Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели измождение». Как безрадостно обладание истиной, которая должна ощущаться как счастье, торжество, гармония?! И энтузиазм изможденных масс скорее напоминает маниакальное упорство.

Воцев не сомневается в убежденности этих людей, в искренности их намерений приблизить новую, счастливую жизнь. Он разделяет их. Но то, какими средствами материализуется осуществление истины, повергает его в смущение и раздумье: «по вечерам Воцев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья», потому что сейчас он не имел «полной веры в общую необходимость мира».

Надеясь обрести смысл существования, Воцев продолжает работать вместе со всеми: быть может, истина откроется. Истина как благо для всех. Мастеровым он говорит, что теперь тоже хочет «работать над веществом существования». «*Вещество* существования» — и сразу ощущаешь наполненность, нелегковесность этого существования, почти его осязаемость.

Внутренний поиск Воцева постоянно сопровождается враждебным к нему отношением. Исполнитель директив, Сафронов полагает, что «надлежало бы и товарищу Воцеву приобрести <...> карающий удар <...> А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить».

«Я хочу истину для производительности труда», – говорит Воцев, понимая взаимосвязанность и взаимодействие в жизни всех ее составляющих. На что «социалист» Сафронов отвечает: «Пролетариат живет для производительности труда, товарищ Воцев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!» «У кого в штанах лежит билет партии, тому надо непрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда».

Сафронов говорит много, «иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине». Его слова не доходят ни до ума, ни до сердца, потому что «счастье настроенья» людей он-то и не ощущает; для него все вокруг — масса, безликое «мы». «Он глядел на людей и с горечью высказывался: “Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!”» Увидев служащих, присланных в помощь, Сафронов меньше всего думает о них. Они такое же средство, как и всякий другой механизм: «Нам это ничто <...> Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем»; «Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращаю, они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо <...> Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?»

Сафронов — олицетворение эпохи обезличенности, когда каждый человек вне коллектива воспринимается как «сволочь» и потенциальный преступник. «Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях или не тронут? — интересуется один из героев повести и продолжает: — Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь — значит, бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!..» А помощник Сафронова на чью-то реплику отвечает так: «Какое я тебе лицо? я никто; у нас партия — вот лицо!» У мертвого Сафронова по лицу видно, что «его не целовали при жизни», — это тоже не случайная деталь.

Сафронов всегда и всюду соответствует моменту, последней директиве. «Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу». В зависимости от ситуации он принимает «на своем лице определенное выражение превосходства», идет «руководящей походкой», делает «интеллигентную походку и задумчивое лицо» — неискренность во всем.

Вощев и Сафронов — своеобразные полюса жизни: осмысленной («Без думы люди действуют бессмысленно», — говорит Вощев) и по команде («У каждого члена союза от ... лозунга должно тело гореть», — это слова Сафронова; тело, а не голова). Эти «полюса» притягивают — каждый к себе — других героев повести.

«А вы не знаете, отчего устроился весь мир?» — этот вопрос Вощев задает инженеру Прушевскому, в котором тоже видит склонность к размышлению. Прушевский выдумал «единственный общепролетарский дом». Он «мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики <...> следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома...» Какими будут «жители будущей башни посреди всемирной жизни»? Для кого он, инженер, проектирует дома? «Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотой жизни, которая названа однажды душой. Он боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут из-за непогоды».

Подобно Вощеву, Прушевский думает прежде всего не о возведении дома, а о душевном состоянии человека. В образе Прушевского, как и в образе Вощева, различим отсвет платоновской мечты об иных отношениях между людьми — подлинно человеческих. Прушевский жалел, что «не все люди знакомы между собой». Это чувство жило в нем еще с юности. Прошли годы, многое изменилось, но неизменным осталось ощущение одиночества, ненужности, неприкаянности. Оно, скорее, даже укрепилось. От работы, не приносящей радости (дом должен служить не только для пользы, но и для радости), от жизни, в которой нет ничего, «кроме <...> усталых, недумающих людей». «Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще далекой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпение...» Отсюда мысли о смерти, которые посещают инженера: «Лучше я умру <...> Мною пользуются, но мне никто не рад».

Лишенная осмысленности жизнь страшит и Вощева. Он «боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался <...> и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования» Вслед за инженером Вощев рассуждал так: «Лучше б я комаром родился: у него судьба быстротечна». «Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы как документы беспланового создания мира...» «Он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании, ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же поверхности земли его не прельщали». Между тем вся жизнь строителей котлована была заполнена именно «событиями поверхности земли».

Слова Прушевского «мною пользуются» — точные слова, характеризующие специфику отношений между «безвестным» человеком и «всеобщим существованием» — государством. Государством, для которого человек — лишь подсобный материал, «мелочь природы». «Государственными людьми» предстают в повести исполнитель Сафронов, председатель окрпрофсовета Пашкин, «активист» из колхоза имени Генеральной Линии.

Товарищ Пашкин «имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела — не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки; от этих данных он говорил отечески и почти все знал и предвидел». Как и Сафронова, его больше всего заботит низкая производительность труда. «Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим детством... » Поэтому он «...обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его, и он запечатлется в ней вечной точкой».

«Однолинейный» Пашкин несовместим не только с думающим Вощевым, но и с не менее «однолинейным», жестким и жестоким ко всяким отклонениям от пролетарского энтузиазма Жачевым. Несовместимость эта другого рода.

Пашкин — руководящий работник, Жачев в прошлом работяга, сейчас — инвалид, искалеченный войной, находится на самой низкой ступени социальной лестницы. Разрыв в уровне жизни — колоссальный. Жачев ощущает в Пашкине нового буржуя («Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю?»), живет за счет Пашкина и считает это вполне справедливым. «Жачев стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье». Точно так же Пашкин и ему подобные живут за счет Жачева, Вощева, Чиклина и других мастеровых, за счет девочки Насти. Жачев заставляет Пашкина обратить внимание на девочку такими словами: «Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!» Чтобы отвязаться от Жачева, жена Пашкина предлагает мужу «взять и продвинуть» инвалида «на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен...». Должность всегда давала и дает стабильную сытую жизнь и таким образом развращает: место красит человека — человек красен своей должностью.

Пашкина и Жачева, Сафронова и Вощева на время примиряет сиротка Настя: хрупкая детская жизнь заставляет по-иному взглянуть на котлован и будущий пролетарский дом.

Равнодушен к Насте и ее судьбе лишь один из самых страшных персонажей повести — деревенский «активист». Не названный по имени, он олицетворяет огромное сословие угодников, карьеристов, слепых исполнителей чужой воли, вобравших в себя все уродливое, жестокое, низменное — все то, чему, как писал Горький, «наша революция дала полный простор».

Тема деревни, конечно, не случайно появляется в повести, начатой в декабре 1929 и законченной в апреле 1930 года. «Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин

сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма». Призыв Пашкина находит отклик прежде всего в душе Сафронова: «Давно пора кончать зажиточных паразитов!.. Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!» Эта фраза — одна из ключевых в повести — многое объясняет в принципах большевизма. Это *политика ненависти* — ненависти, возведенной в ранг всеобщего государственного дела; ненависти, которую надо постоянно подпитывать, то отдавая на «съедение» интеллигенцию, то крестьянство, то космополитов — и так до бесконечности. Поэтому «жар» классовой борьбы никогда не затухал, он лишь ослабевал на время в поисках новых жертв, новой «растопки».

Артель мастеровых назначила Сафронова и Козлова (один из строителей «обще-пролетарского дома») идти «в ближайшую деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой или частным мошенником в своем убежище». Так же как и Настю, деревенских бедняков хотят избавить от «сиротства», то есть отрыва от коллективизма, «общего дела». Сафронову и Козлову суждено незаметно сгореть в «костре классовой борьбы», ценой своей отдельной жизни поддерживая общий жар.

«Активист» — дитя революции, из тех, кто раздувает жар этого костра. Он уже понял, что быть одной миллионной долей «мы» — радости мало. Гораздо радостнее сознавать, что ты творец и руководитель этого «мы», этой мягкой, послушной массы. «Не пойти ли мне в массу, не забыться ли в общей, руководимой жизни?» — думал иногда «активист», но «быстро опоминался, потому что не хотел быть членом общего сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутился среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подписи на бумагах: эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс». «Активист» страстно хочет быть приобщен к некой касте, живущей совсем другой жизнью, по другим законам: «спускать» директивы — устные и письменные, угождать «колхозному разворачиванию», накапливать «энтузиазм несокрушимого действия». Поэтому с таким сладострастием читает он каждую новую директиву, «с любопытством будущего наслаждения» рассматривает и изучает подписи сильных мира сего. Чтобы стать полноправным членом касты, нужно хорошо служить, и «активист» старается изо всех сил.

Для выполнения очередной директивы — «ликвидировать кулака как класс» — «активист» приказал соорудить плот, «чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее». «Активист» торопится написать «рапорт о точном исполнении мероприятий по сплошной коллективизации». Он «попросил себе из района новую боевую кампанию, чтоб местный актив работал бесперебойно и четко чертил дорогую генеральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе села, и, услышав его, один мужик объявил себя бабой». Заметят в районе — пригласят, и станет он «активист» районного масштаба, а там, глядишь, и городского.

Деревня тем временем содрогается от стонов и воя: люди прощаются с жизнью, друг с другом. Старый пахарь «целовал молодые деревья в саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы»; снег пропитан кровью; режут скот, чтобы не обобществлять его. Порой происходящее кажется просто абсурдным, и, чтоб подчеркнуть безумие событий, автор вводит совершенно фантастические, гротескные эпизоды.

Один из предполагаемых «активистом» убийц Сафронова и Козлова «заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между

покойными и лично умер». Еще одного «стервеца», просившего «удара», «закончил» Чиклин: «Я ему дал, а он ослаб». — «И правильно, — радостно подхватил «активист», — в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!»

Обобществленные «лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода». Напившись, они «тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой». «Вощев в испуге глядел на животных <...> его удивляло душевное спокойствие жующего скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади». Ассоциации между стадным образом жизни и колхозной организацией общественного строя, с одной стороны, прозрачны и очевидны, с другой — не в пользу последней: ведь лошадей не нужно «раскулачивать» (прежде чем обобществить), и среди скота нет ожесточенной классовой борьбы...

Строительство плота «для ликвидации кулаков» тоже можно считать эпизодом, построенным по логике абсурда, если бы не сегодняшнее знание реальных фактов о коллективизации, о расправе с так называемыми кулаками. Платонов показывал фантастичность самой реальности, и в этом его «фантастическом реализме» правды жизни было куда больше, чем в писавшейся в то же время по «социальному заказу» большевистского, сталинского руководства «Поднятой целине» Шолохова, где по-своему фантастично перемешивались реальные факты и лубочная идиллия, запрограммированная сталинским «Головокружением от успехов», желаемое и действительное, ставшее и должное.

Так же фантастична и реальна фигура «самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузне», превратившегося в настоящего медведя. «Жил с людьми — вот и поседел от горя», — объясняет Чиклин Насте. Кузнец наводит организаторов коллективизации на кулаков, как зверь, рыча, обозначая таким образом «присутствие здесь своего классового врага». Медведь-молотобоец мстит теперь тем, кто мучил его, заставляя тяжело работать, и держал впроголодь. Страдания превратили человека в животное. Значит ли это, что месть облегчит его жизнь? Появление в системе образов человека, страданиями превращенного в зверя, свидетельствует о противоречивом восприятии Платоновым коллективизации.

Коллективизация видится как *возможный предел* социальной несправедливости, мучениям, нищете, но предел не только в том смысле, что этим положен конец разделению классов, но и в том, что несправедливость, мучения, нищета достигают в процессе коллективизации своего крайнего выражения и напряжения. Колхоз, подобно котло-вану, — основание под будущее «общекрестьянское жилище». Но прежде чем строить ввысь — приходится закапываться в землю; раньше чем что-то создать — нужно всё, что возможно, разрушить; до того, как выйти к свету и счастью, — нужно предельно усугубить общий мрак и горе. Каким будет это «общее жилище», если в него загонят насильно, если его основание — всемерно разжигаемые ненависть и месть, если само его создание ведет человека к предельному измождению, и одичанию, к нищете быта и духа? И главное: почувствует ли себя человек «помещенным в скупое чувство счастья»?

Кулаков ликвидировали, но счастье не наступило. «Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? — спросил колхоз. — Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет!» Чувствовать нечего. Жить нечем. Пустота. «Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте...» «Ликвидировали?! <...> — кричит один из раскулаченных. — Глядите, ныне меня нету, а завтра вас не будет». И добавляет: «Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!» И похоже на то: в платоновском «Котловане» смерть следует за смертью; люди по очереди «ликвидируют» друг друга. Преступление сменяет наказание...

И все это ощущается лишь как пролог будущих трагедий: огонь борьбы не должен затухать.

Символична смерть «активиста». Никто не пожалел о нем, не сказал доброго слова. «Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был ... поганный...» В ряду «руководящих работников» «активисту» принадлежит особая роль. Он действует «с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались только в нем и более нигде». В нем, в «активисте», видит Воцев причину своей душевной сумятицы. «Активист» и ему подобные ведут себя так, будто обладают монопольным и исключительным правом на владение истиной, обрекая окружающих на «бессознательное» существование. Они видят себя всеильными и смотрят на других, как на пигмеев. «Ах ты гад! – прошептал Воцев над этим, безмолвным туловищем. – Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!» — «И Воцев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья».

«Активист» — не просто послушный исполнитель линии партии, как Сафронов или Козлов, он сам творец «линии», одно слово — активный деятель. Недаром центр обвиняет его в «перегибщине, забегаловщине, переусердщине и всяком сползании по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии». Такие, как «активист», всегда засылались партией в качестве «застрельщиков» ее линии, «авангардных бойцов», а в случае чего их первых же и «убирали» — как главных виновников перегибов и чрезмерных энтузиастов движения.

Воцев и «активисту» задавал все тот же свой мучительный вопрос: «А истина полагается пролетариату?» — «Пролетариату полагается движение, — произнес активист, — а что навстречу попадается, то всего его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдет в организационный котел...»

«Организационный котел», где всё и вся в куче, где ничего и никого не различишь, — сплошное «мы» и «наше». Против такого котла восстает все существо Воцева. «...Его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования». Воцев хочет вырвать человека из безвестности, хочет в конечном счете, чтобы жизнь каждого была осмысленной, осознанной, значимой, — своей собственной, а не «всеобщей». Вот почему он собрал по деревне «все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспомыслие... Это истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти...» Нельзя допустить, чтобы люди исчезали бесследно; осмысленная жизнь должна отомстить за тех, «кто тихо лежит в земной глубине». Но в «котле», в «котлованной» жизни смерть оказывается гораздо конкретнее, реальнее, ближе, а главное — желаннее жизни, зашедшей в тупик: «...мы сами живем нечаянно». Мало кто думает о жизни, многие — о смерти: мужики требуют вернуть как наивысшую ценность гробы, сделанные по мерке живых — взрослых и детей; и один из них, еще живой, пишет на крышке свою фамилию; грачи улетают, хотя их время еще не наступило; «мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться»; поп на вопрос Чиклина: «Хочешь жить?» — отвечает: — Мне, товарищ, жить бесполезно <...> Я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека».

Средоточием жизни для всех (кроме «активиста») является Настя. С ее появлением рытье котлована вроде бы обретает какую-то определенность, осмысленность. Настя — первый житель дома-мечты, еще непостроенного дома-символа.

Когда Сафронов предложил поставить в бараке, куда приходят спать измученные люди, «радио для заслушивания достижений и директив», Жачев возразил: «Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио». И Сафронов согласился: «Нам, товарищи,

необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света». Там, где ребенок, «скорбь должна быть аннулирована». Землекопы долго рассматривали спящую девочку — существо, «которое будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костями».

«Фактический житель социализма», Настя удивительно «по-социалистичьи» воспринимает смерть матери: «Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?..» Она уже знает, что все буржуи должны умереть. Вообще всякая смерть, и в том числе насильственная, воспринимается Настей совершенно спокойно: она успела привыкнуть и к смерти, и к насилию. Более того, для нее мир не просто делится на плохих и хороших; он делится — по классовому принципу, по логике гражданской войны — на тех, кого *надо убить*, и тех, кто *может жить*. Надо «плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало», «убей их пойдись!». «Ликвидируй кулака как класс», — пишет Настя в записке, адресованной Чиклину, отправившемуся организовывать колхоз. Вот один из диалогов Насти и Чиклина:

«— Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя.

— От кулаков, дочка! — сказал Чиклин. <...>

— А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть станет».

Человек, что муха, убьешь — не заметишь. Как много жестоко рационального, недетского в Насте. Кажется, она и сама это чувствует, когда спрашивает у Чиклина: «Отчего я всегда ум чувствую и никак его на забуду?» «Наверно, потому, что ты ничего хорошего не видела», — отвечает Чиклин. Этот ответ предрешает и судьбу Насти, и судьбу котлована, и судьбу всех участников драмы — драмы социалистической идеи.

Настя умерла. Умерла от одиночества, неприкаянности, от отсутствия тепла. Взрослые люди, которые видели в Насте источник своей жизни, не почувствовали, «насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтоб она была жива». «Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации», как того и хотели партия и ее вождь, осуществлявшие «великий перелом» в жизни и душах людей.

Строительство дома-мечты (а метафорически — строительство новой жизни, жизни-мечты, социализма) оказалось несоотнесенным с жизнью конкретного человека. Ради которого, для которого будто бы всё совершалось.

Умерла Настя, и потускнел свет, блеснувший вдали. «Воцев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении. Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением?»

Чиклин начал копать для Насти могилу. С таким же остервенением, как рыл котлован, Чиклин пятнадцать часов подряд разгрызал неподвижную землю. Так работают от отчаяния. Отчаяние и безысходность не есть только следствие Настиной смерти. Те, кто не знал Насти, работают так же на рытье котлована: «все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована».

Котлован — та же могила, могила всей будущей жизни, в которой нет места детству, человечности, счастью. В общей работе не участвует Жачев: «Я теперь ни во что не верю!» И дальше: «Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью». «Смутное» в сознании Жачева верно указывает ему на одного из тех конкретных людей, чьими активными усилиями котлован превращен в братскую могилу «строителей коммунизма».